

АЛЕКСАНДР  
ПИСАРЕВ

## Уют, освобожденная модерность и лейбницеанское будущее:

обзор российских  
интеллектуальных журналов



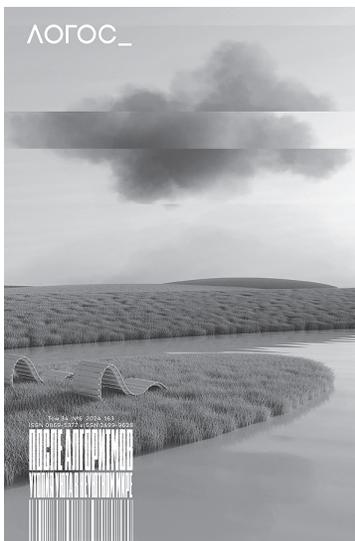
*Александр Александрович Писарев (р. 1988) – исследователь, переводчик, преподаватель, младший научный сотрудник Института философии РАН.*

**В** этот обзор вошли выпуски журналов, так или иначе посвященные будущему и способам говорить о нем. «Логос» размышляет о том, хорошо ли будет жить с алгоритмами, которые перехватывают у человека труд, язык и историю. «Ab Imperio» защищает модерность от Европы, споря с Дипешем Чакрабарти. «Stasis» проводит ревизию перспектив актуальной континентальной философии и концентрируется на проблеме политического.

**ОБЗОР  
ЖУРНАЛОВ**

229

## Жизнь под опекой АЛГОРИТМОВ



Прошлый год «*Логос*» (2024. № 6) закрыл номером об алгоритмах, но тематический акцент выбрал весьма необычный. Отправная точка дискуссии – цифровая революция:

«Человек перестает обладать монополией на преобразование опыта, когда знание и власть передаются технологиям и программам: искусственному интеллекту, нейросетям, обработке больших данных, широкому комплексу киберфизических систем, внедряемых в производственные процессы и повседневные формы межчеловеческого взаимодействия. Знание, труд, язык – да и сама история – будто переходят машинам» (с. 2).

Алгоритмы опосредуют и структурируют многие процессы, являясь частью материального устройства социальной среды, в них могут воплощаться разные социальные идеалы и ценности. Поэтому внедрение алгоритмов меняет социальность и проблематизирует ее. Зачастую невозможно отличить свои действия от действий машин, а свое поведение от программных сценариев. Цифровизация переопределяет

такие феномены, как собственность, отчуждение, ответственность, справедливость, гуманность. Эти перемены вызывают у людей и сообществ чувство *неуютности*, или отчужденности, жизни. Отталкиваясь от этого, авторы номера осмысливают «условия возможности и состоятельности притязаний на уютность существования в ситуации, вызванной к жизни так называемой цифровой революцией» (с. 1). Этот ход актуализирует идею утопии как формы критического мышления о настоящем – отмечают редакторы-составители номера Константин Очеретяный и Александр Погребняк.

Они берут за основу антропологические построения Мишеля Фуко, считавшего, что современное понимание человека складывается в начале XIX века, и задаются связью человека с тремя инстанциями: языком, трудом и жизнью. Все три сегодня цифровизируются и трансформируются алгоритмами, будучи фактически изъяты из ведения людей. Поэтому поиск *утопии* введом ностальгией по *природе*, даже фантазмом природы, и желанием обрести себя в додискурсивных, допредикативных, внеисторических формах. Природой в таком случае оказывается нечто внутри человека, что ускользает от алгоритмизации.

«Мы больше не ищем реальности, истины, нового социального порядка, экономической справедливости и даже объективности – их скорее найдут наши программы и технологии, мы же ищем уюта как того, что одинаково отдалено как от онаученной природы, так и от технологизированной истории» (с. 3).

Уют как постисторическая природа и как природа по ту сторону человека – это, по мнению Очеретяного и Погребняка, интерфейс: «спекулятивное изменение жизни как формы: открытие опыта “своего”, “собственности”, “существования” по ту сторону концепта “человек” в диалоге аутопоэтических гибридов, квазисубъектов, криптосущностей» (с. 3).

Первый раздел номера посвящен тематизации уюта как состояния между (сознательной) утопией и (бессознательным) фантазмом. Известны постгуманистические по духу попытки преодолеть отчуждение путем учреждения сообщества с нечеловеческими агентами. Иван Микиртумов анализирует подобные стратегии и показывает, что такой жест отбрасывает нас с социально-критической позиции к неосентиментализму, дающему уют только в частной сфере. Другой путь к уюту деконструирует Константин Очеретяный. В фокусе его внимания – руссоистский образ республики свободно коммуницирующих открытых сердец. За этой утопией скрывается изоляция, сводящая действие к инструкции, а коммуникацию – к сценарию. Такова изнанка любого просветительского проекта, превращающего в норму то, что по своей природе не существует правилосообразно. Однако Очеретяный находит тут зазор для спасения Руссо: эти сценарии и инструкции в своем перформативном и нарративном аспектах предполагают игровой характер своего исполнения, а значит – оставляют место для неотчужденности.

Разговор об утопии после XX века весьма затруднителен: катастрофы прошлого столетия скомпрометировали само мышление утопиями и любые попытки переустроить общество ради всеобщего блага. Например, Теодор Адорно выступал за непредставимость подлинно утопического ради его спасения от овеществления. Эрнст Блох, напротив, призывал сохранить «дневные грезы» о наилучшем устройстве жизни. Об этой оппозиции и переосмыслении возможностей утопического мышления – в статье Антона Сюткина и Артема Серебрякова. Также в этом разделе читатель найдет текст Надежды Макаровой о практиках памяти в цифровом пространстве и неожиданное сопоставление практик уюта в «открытых цифре интерфейсах» и на древнеримских виллах.

Авторы второго раздела проблематизируют обещанный цифровой революцией уют, отталкиваясь от факта неизбежности сбоя алгоритмов. Алгоритмы могут сбивать там, где сталкиваются с телесной реальностью. Александр Ленкевич и Алина Латыпова анализируют это на материале проектов систем управления действиями и телом геймера. В свою очередь Евгений Малышкин обращается к прогулке, чтобы обнаружить в ней опыт телесности, преданный забвению современной картезианской культурой. Этот опыт, чреватый встречей с иным, противостоит комфорту и отсутствию усилий, предлагаемым «цифрой». Схожую позицию занимает Александр Погребняк: оптической диктатуре, нормализующей мир, он противопоставляет *рассеянность* как нефокусированность, позволяющую заново увидеть парадоксальность вещей и их возможности. Тогда «овладеть рассеянностью в мире интерфейсов и алгоритмов означает вернуть право на игру в мире правил» (с. 7).

Полина Колозариди и Гавриил Беляк подходят к теме с другой стороны и подвергают анализу метафору языка обещаний цифровой революции. Обсуждения дискурса продолжает Дарья Чирва: она анализирует антропоморфизм классического дискурса искусственного интеллекта и предлагает «обратиться к взаимодействию человеко-машинных гибридов и социальных систем, ориентируясь на понимание уюта как меры сосуществования с радикально иным» (с. 6).

## ПОДЛИННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ?

«*Ab Imperio*» (2024. № 3) посвящен исследованиям новой имперской истории и национализма на постсоветском пространстве. Чтобы очертить контуры дискуссии, развернувшейся на страницах номера, редакция обращается к идее «провинциализации

Европы», сформулированной Дипешем Чакрабартти, участником индийской Группы исследований субалтерности (Subaltern Studies Group) – коллектива исследователей постколониальных и постимперских обществ. Им удалось синтезировать марксизм, французский постструктурализм и местные интеллектуальные традиции, создав «методологию, которая позволила регистрировать новые формы гегемонии и социального опыта считавшихся “безмолвствующими” групп населения в любом обществе в разные периоды» (с. 16). По сути, отмечают редакторы, индийские интеллектуалы продемонстрировали работу того культурного механизма, который был залогом культурного превосходства Европы: «открытость чужеродному знанию и способность институционально и интеллектуально усваивать его, переосмыслив в знакомых культурных идиомах» (с. 16). Этим жестом Группа исследований субалтерности провинциализировала Европу, поскольку показала, что дело не в месте, а в конкретном – современном – культурном процессе и что любое общество, успешно освоившее этот процесс, начинает восприниматься как «европейское», или «западное», то есть современное.

Однако, в отличие от своих коллег, Чакрабартти вернулся к пониманию Европы как конкретного фиксированного места и культуры – практически цивилизации. Превратив ее во внеисторическую сущность, он отождествил с ней процесс культурного обмена и современность как способ интеграции социальных групп в общее культурно-политическое пространство массового общества. Присвоив современность географической Европе и призвав к провинциализации последней, он завел постколониальную теорию в тупик, поскольку фактически наложил запрет на использование культурных механизмов современности и сделал «историю “не-Европы” невозможной из-за отсутствия общего аналитического

языка и системы координат» (с. 17). В оптике Чакрабартти любое массовое общество будет становиться «Европой», а единственная альтернатива, столь же иллюзорная, – аутентичное и изолированное традиционное общество, опирающееся только на собственное знание.

Статьи номера представляют эмпирические опровержения тупика Чакрабартти. Так, Цинюнь Чжао показывает действие механизма современности в критике китайскими интеллектуалами российских эмигрантов в период 1920–1940-х. Китайская элита обличала их как неполноценных, но опасных пособников европейского империализма и колониализма. Они воспринимались не как беженцы или иммигранты, а как иностранцы, на чьем уроке китайскому обществу надлежало учиться. Тем самым китайцы подвергали Европу дискурсивной провинциализации и одерживали победу в международном соперничестве по стандартам глобальной современности.

Сергей Кан переносит нас совсем в другой контекст – контакты американского антрополога Франца Боаса с коллегами из СССР в межвоенный период и его отношение к Советскому Союзу. Боас считал советский проект научным экспериментом и положительно оценивал его политику коренизации и потому инициировал институциональное сотрудничество с советскими академическими структурами, включавшее студенческие обмены и совместные экспедиции. Он сохранял положительные отношения к сталинскому курсу, несмотря на множество фактов, свидетельствовавших о политических репрессиях и идеологическом контроле в советском обществе и академии, и даже поддержал заключение пакта Молотова–Риббентропа. Возможно, такая поддержка Боасом советского проекта была обусловлена стремлением провинциализировать Европу как провалившегося лидера современности: антрополог хотел спасти современность в Новом Свете или СССР.

Другой пример провинциализации Европы представляют мемуары и интервью британского историка Российской империи Доминика Ливена. С 1970-х он изучал императоров, имперские правящие элиты, войны и дипломатию. В своем подходе Ливен *нормализовывал* российскую аристократию и дипломатию, помещая их на одну плоскость модерности с европейскими. Это уравнивание отнимало у Европы исключительное право на модерность. Впрочем, в последние десятилетия судьба Европы сделала поворот:

«Различные сценарии провинциализации, или скорее “расколдовывания” Европы (в веберовском смысле) на протяжении XX века, преследующие различные цели, в конечном итоге привели к формированию широкого академического консенсуса о том, что “Европа” является просто интеллектуальной конструкцией, а не местом или единой культурой» (с. 22).

К началу XXI века Европа потеряла «цивилизованную» исключительность. Вследствие создания Европейского союза в середине 1990-х сформировалась современная версия европейской истории, испытывающая влияние все более популярной истории глобальной, в центре которой оказался «эфемерный интеллектуальный конструкт» (с. 22). Будущему этой истории посвящена статья Сони Левсен и Йорга Реквате, которые подчеркивают ограниченность националистических нарративов.

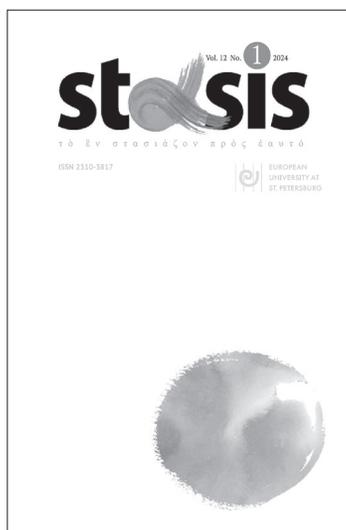
«Авторы говорят о необходимости деконструкции европоцентристских шаблонов, освоения транснациональных и сравнительных подходов и отказа от восприятия национального государства как основной единицы анализа. В конечном счете, они выступают за более инклюзивный и многогранный подход к европейской истории, соответствующий ее сложному и взаимосвязанному характеру и важности для нее глобального контекста» (с. 52).

Чего не хватает для окончательной критической деконструкции идеи Европы? Редакторы номера отмечают:

«История политий и людей, которые в разное время отождествлялись с по-разному понимаемой “Европой”, сможет освободиться от нормативного мифа истинной европейскости, когда все компоненты этого мифа будут провинциализированы – то есть признаны обыденными качествами, доступными каждому» (с. 23).

Ближайшее «тестовое» событие, по мнению редакторов, это возможное изобретение постнациональных и постимперских форм социальной группности. Где бы они ни возникали, они наверняка будут названы «истинно европейскими».

## В ПОИСКАХ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО



«*Stasis*» (2024. № 1) посвящен новым перспективам современной европейской философии, и эти перспективы связаны с Лейбницем, Альтюссером, Бадью и Деррида. Общий знаменатель почти всех этих перспектив –

вопрос о возможности политического субъекта и политического изменения.

Открывается номер ревьюизацией информатики от Андрея Глуховского. Его усилия направлены на реабилитацию метафизической идеи *абсолютного* знания через изобретение особого технического артефакта, способного дать к нему доступ. По сути, это продолжение линии, намеченной Хайдеггером: переосмысления метафизики в эпоху господства техники. Работая в рамках коинцидентального подхода, Глуховский намечает переход от двоичного кода к *четверичному*. Основная цель информатики определяется автором как организация технически опосредованного доступа человека к абсолютному знанию. Глуховский анализирует проект Лейбница, впервые упомянувшего двоичное исчисление в работе «О двоичной прогрессии» в 1679 году (с. 10), и обнаруживает в нем предпосылки для перехода к четверичному исчислению как исполнению задумки немецкого философа. Такой код, утверждает автор вслед за Йоэлем Регевем, должен лежать в основе машины, трансформирующей основания действительности и требующей совместной работы инженера и философа. Предшественницей такого устройства он считает универсальную систему исчисления у Лейбница, «которая обладает онтологическим и божественным статусом, то есть способна исчислять универсум по числам, заложенным в сущность вещей, и при этом доступна человеку как формальный логический язык» (с. 16).

Олег Горяинов продолжает линию Лейбница и переключает внимание на современных философов, опирающихся на его идеи. Его исследование ведомо следующей гипотезой:

«Актуализация наследия Готфрида Вильгельма Лейбница современной теорией, ее попытки обновить собственный язык с помощью проекта монадологии является ловушкой для любых версий политической мысли, заинтересованной в четкой артику-

ляции ответа на вопрос, кто сегодня может выступить субъектом политического действия» (с. 34).

Речь идет, к примеру, о Маурицио Лаццарато, ФранкLINE Анкерсмите, Юне Эльстере и Бруно Латуре (с. 36–38). Чтобы выяснить последствия такого игнорирования, Горяинов анализирует свойственное им понимание субъекта по аналогии с монадой. Он показывает, что понятие субстанциальной связи, лежащее в основе онтологического статуса монад, делает невозможным на почве монадологии связанное понятие субъекта политических действий. В заключение он показывает, как эта апорийность лейбницевской философии проявляется в мышлении Джорджо Агамбена.

Следующая статья номера путем переинтерпретации раскрывает философию XX века как плодотворную почву для будущих философий. Данил Давлетбаев обращается к анализу *алеаторного материализма* позднего Луи Альтюссера и рассматривает ее как попытку обоснования политической практики при помощи онтологических концептов случайности, встречи и пустоты. Он опирается на работу «Подземное течение материализма встречи» и посмертно изданный текст «Макиавелли и мы». Согласно интерпретации Давлетбаева, эта теория распадается на две стратегии. В первой доминирующая роль отводится онтологическому концепту пустоты и действию «клинамена»; во второй задается особая «пустота» исторической конъюнктуры, которую должен занять грядущий субъект политической практики. Другими словами, «обусловленность процесса событийного преобразования ситуации онтологической пустотой и ключевая роль субъективной (в первую очередь политической) практики» (с. 99). Соединяются эти две стратегии, как показывает автор путем сопоставления, уже в философии события Алена Бадью, ученика Альтюссера.

Проблема роли политического субъекта в истории выводит на первый план вопрос о соотношении политического идеала и истории. Как показать их взаимосвязь? Сергей Коретко полагает, что Кембриджской школе истории политической мысли это не удалось:

«Контекстуализм оказывается внутренне неконсистентным, поскольку он одновременно постулирует и никак не опосредует два взаимоисключающих тезиса. Контекстуалисты, с одной стороны, полагают, что политическая теория всегда является порождением замкнутой на саму себя, исторически конечной символической вселенной. С другой стороны, они полагают, что из артефакта прошлого можно создать актуальную сегодня активистскую политическую теорию» (с. 132).

В качестве альтернативы Коретко строит собственную диалектику политического идеала и истории, отталкиваясь от диалектической герменевтики Ханса-Георга Гадамера и Поля Рикёра.

Существуют разные способы работы с будущим и его исполнения. Одними из них являются *перформативы*, декларации и манифесты, которым посвящено исследование Владислава Макарова. Он анализирует ограничения теории перформатива Джона Остина и расширяет идею перформатива за счет критических замечаний Жака Деррида, касающихся риска и итерабельности.

«Остиновское понимание перформатива может быть реализовано лишь в таких текстах, как королевский манифест и декларация

о признании брака недействительным, тогда как формы множественной субъектности, цитатности, не-серьезности, на основе которых функционируют многие манифесты и декларации, не могут быть рассмотрены в рамках теории Остина» (с. 148).

Макаров обращается к понятию *перверформатива* Деррида, которое переосмысляет идею перформатива для ненормализованных употреблений языка и фиксирует свойственное перформативу стремление выйти из своего контекста и найти новые, ускользнуть. Тем самым удается рассмотреть то, что предшествует закону, в рамках которого только и работает остиновский перформатив. Эти теоретические изыскания Макаров использует для анализа «Манифеста Коммунистической партии».

Периодическое обращение интеллектуальных журналов к теме будущего и способов говорить о нем понятно в ситуации хронической неопределенности. Однако закономерно вызывает вопросы настройка чувственности для такой работы. Какие ощущения должны вызывать наиболее прощательные версии будущего? Не должны ли они быть неудобными и тревожными или же подобный критерий проверки различных версий будущего неприменим? Думается, что разговор о будущем стоит дополнить такой пострелефлексией: чем его образы отзываются в нас, как окликают нас и к чему располагают?

